Реалисты и жлобы

Автор:
Галина Щербакова

Реалисты и жлобы

Галина Николаевна Щербакова

Провинциалы в Москве #2

Галина Щербакова написала историю тех, кто страстно, как свойственно только русским, рвался в Москву, а потом получал от нее кто колотушки, кто дары, кто признания, а кто и изгнание. В чем-то это судьба самого автора и ее поколения, чьи поиски счастья были подчас так наивны и нерасчетливы. Как всегда в романах Г. Щербаковой, здесь много любви, потому что – считает автор – без нее мы вообще ничего не стоим.

Галина Щербакова

Реалисты и жлобы

(Чистый четверг)

Валентин Кравчук

«Какая прелесть – эти хлопчатобумажные рубашки! – подумал Валентин Петрович. – Так в них хорошо, удобно телу». Он встал и с удовольствием развел руки в стороны. До скрипа… «Прелесть, как хорошо!»

Чуткое журналистское ухо отметило – он дважды в одной мысли-абзаце употребил слово «прелесть». «Бабьими словами думаю, – усмехнулся он. – Стоит мужику одеться как следует, и он сразу немножечко баба». Но тут же Валентин Петрович решил, что вот это он себе позволит. Одежду. И не вычеркнет из фразы «прелести». Принципиально. Надо все в жизни отыгрывать. Как в картах Пас, пас, пас, а потом – раз! – и все твое, ты уже в барыше. Чего только не пришлось носить смолоду, а уж про детство и говорить нечего. Каждому уровню обеспеченности соответствовал и уровень мечты. Мальчишкой хотел сапоги по ноге, с узкими голенищами, чтоб нога в них не хлябала. Потом мечтал о белой поблескивающей рубашке. Сапоги ему так и не обломились. А свою первую белоснежную нейлоновую рубашку он купил в Москве на комсомольском съезде, куда был аккредитован. Они тогда в перерыве ринулись в киоск и, забыв о субординации, страстно давили друг друга в очереди. Казалось, что могло быть лучше нейлона: сполоснешь под краном, на плечики – и через пятнадцать минут иди на любую встречу. И никаких тогда не было проблем с непроницаемостью материи, со всеми этими уже потом пришедшими терминами.

«Молодость, – с нежностью подумал о том времени Валентин Петрович. – Ей все впрок. Даже то, что во вред».

Непостижимое свойство памяти. Он тогда – как хорошо, легко вспомнилось – в новой, привезенной из Москвы рубашке ходил по инстанциям выяснять, с какой это беды выросла вдруг возле булочной очередь за хлебом? Это в шестьдесят первом! Это в их-то богатом крае! Рубашка-новинка производила хорошее впечатление на тех, кому задавал вопросы. Объясняли доходчиво: очередь – дело случайное, нерасторопность доставки. Нехватка фургонов. И без перехода, с интересом: а сколько такая рубашка стоит? Он заводился. При чем тут рубашка? Бабы в очереди стоят перепуганные, завтра разберут мыло, спички, соль… Много ли надо для паники? В ответ качали головой: ну, что, мол, ты так заходишься? У тебя лично нет? Так сделаем…

Сейчас Валентин Петрович смеялся, глядя из сегодня на того себя, задиристого. Как он шел на начальников белой нейлоновой грудочкой. Как размахивал перышком. Конечно, все с хлебом наладилось… Сейчас там, на родине, другие проблемы. Замесом погуще. Петушиным наскоком их не взять. Но Боже! Каким красавцем стал его город – с моднющей двухцветной плитой на тротуарах, с многоструйными фонтанами, с высотными гостиницами. И какие девчонки топчут сегодня эту самую плитку? Все как с импортной картинки. Такчто, с одной стороны, мяса – нет, масла – нет, рыбы – нет, а с другой, – жизнь откуда-то

все берет. Берет, как умеет, как знает. Ее, жизнь, не перехитришь. В гости придешь – стол у всех, как на каком-нибудь приеме. Люди научились хорошо жить, думал Кравчук, в предлагаемых обстоятельствах. И он как журналист считает – слава Богу, что научились. Народ стал моторней, ловчее, оборотистее… Плохо разве? Хорошо! Трудно? Трудно! Интересно? Еще как!

Что бы там ни говорили антропологи, биологи, физиологи о стабильности человеческой природы, он, Валентин Кравчук, знает: наш народ за последние двадцать – тридцать лет изменился ого-го! У Валентина на этот счет своя теория, которую он любит развивать в своем кругу.

На трибуну с ней не вылезешь, в статью не вставишь, но как хороша теория! Все в ней объяснимо, все в нее укладывается. Суть ее такова: мы силой загнали в один угол три формации – феодализм, капитализм и социализм – и проживаем их все од-но-вре-мен-но! Вот и все! И каждый из нас в каждый свой момент триедин: он сразу замшелый тупой крестьянин, деловой бизнесмен и вольный социалист-бездельник. Признай это, увидь, пойми, какой зверь в тебе в данную минуту играет, и станет жить легче. Бывает, что играют все. Всеобщий внутренний рев Валентин Петрович называет предынфарктным трехголосьем. Хброшо в этом случае помогает сауна с водочкой и пением. Опять же! Сауна – это претензия бизнесмена. Водочка – она от феодализма. А пение… Песни у нас революционные, военные, блатные, короче, песни социалистов. И феномен Высоцкого, между прочим, в том, что он потрафлял сразу трем головам зверя – и мужику, и разночинцу, и лавочнику.

Так о чем, бишь, он? О той старой хлебной очереди. О том, что взыграло в нем ретивое: зубами ухватился за проблему, что, мол, за безобразие случилось, товарищи?

Ничего, сказали ему. Все в порядке. Кого надо, наказали… Охолонь… И остановись.

Интересно, не брось он тогда это дело, упрись лбом в закрытые ворота, был бы он сейчас здесь, на своем нынешнем месте? И вообще как сложилась бы его судьба?

Ведь как было смолоду?.. Мотался по области, аж земля под ним горела. Этим и выделился. Этим ценился. Кто, кроме него, мог, вернувшись утром с сева, сдать

к обеду репортаж на триста строк, а вечером уже быть на другом конце области в вечерней школе по склочному письму? Почему-то вспомнилось: именно на склочные письма приходилось летать самолетом. Он плохо переносил проклятые «кукурузники». Его на них сильно тошнило. Стыдился этой своей слабости… Скрывал ее.

Все он тогда знал про свой край. Коров в морду узнавал. Тем более что становилось их все меньше и меньше. А какая у них там земля! Как говорится, палку ткни – яблоня вырастет. Он же сплошь и рядом видел и не родящие поля, и гниющую в земле дорогую технику, и пьяных, спящих в борозде трактористов. Какая подымалась в нем злость! Однажды он едва сдержался, чтоб не ударить такого, ослепшего от хмельной тупости парня: «Смотри же, где лежишь, сволочь!» Пошел, нет, побежал к председателю, чтоб выдать ему, выдать… Выдал, а потом и написал… Так сказать, со всем пылом молодости. «Червье» называлась статья. Если бы не Виктор Иванович, вылетел бы из газеты в два счета. Тот ему тогда сказал: «Сынок, это не дело… Не наш путь – шашкой по головам… Ты ищи положительные примеры… Для недостатков есть другие инстанции…»

Три дня в собственной редакции походил он в героях, в борцах за справедливость. Хлопали его по плечу, водили в стекляшку – выпить за правду. Он же сразу понял: дешевое это дело – пьяное сочувствие и коридорная солидарность. В каждой газете найдешь потертого, небритого правдолюбца, у которого перо давно бессильно дрожит в пальцах, а слов в обиходе сто восемьдесят семь… Как-то не поленился, посчитал у одного. Нет, сказал себе, нет! Мне это не годится…

Тогда-то Кравчук и вычислил «свое»: его конек – герой случая. Не тот, что изо дня в день не поднимает головы, а тот, кто на один раз овладевает ситуацией. Живет такой человек и знать про себя ничего не знает. А тут его в шахте завалило. Или в яме затопило. Поставленный в условия «жить – не жить», человек такое может выдать! Какие фокусы превращений видел Кравчук у людей, с виду никаких. Вот их он и искал. Насчет экстремальных ситуаций в нашей распохабной жизни не напряженно. То там, то сям приходится собственным телом что-нибудь прикрывать. И пока без него, Кравчука, воспевающего героизьм– с мягким знаком, товарищи! – державе не обойтись.

Валентин Петрович продумал все эти мысли быстро, конспективно, не опуская поднятых до скрипа рук. Хороша рубашка. Живая. Ласкается. Захотелось

озорства, и он, хлопнув ладонями над головой, прыжком расставил ноги, гикнул и засмеялся. «Шалишь, мальчишечка?» – «Шалю…»

Прыгая – хлопок над головой, ноги врозь, – Валентин Петрович думал о себе сразу во времени и пространстве. О том, что он в громадном здании, на одиннадцатом этаже, в отдельном кабинете прыгает, как пацан, и галстук в нежную полоску отблескивает в электронных часах над дверью. И в этом всем есть какая-то законченность, гармония его существования на этой земле. «Еще не вечер, – сказал себе Кравчук, – только движемся к гармонии». Но, будучи человеком и прямодушным, и суеверным, сам же себе сказал: «Дальше – поживем, увидим… Сейчас точно. Гармония».

Почему ему так нравились в жизни победители, умельцы, мастаки? Да потому, что именно их он умел расколдовывать и преподносить так, что, не найдя ни одной фактической неточности, человек сам себя сначала не узнавал, не верил, что он такой.

– Да ты что, Петрович, со мной сделал? Я ж не людоед…

– Людоед, людоед! – весело кричал Кравчук. – Замечательный, нужный людоед!

В конце концов все всегда были довольны. Потому что человеку приятно, когда его изображают сильным.

Валентин Петрович бросал человека в яму и показывал всем, как он оттуда выбирается. Его герои всегда были на краю только что покинутой бездны. Они еще едва дышали, стряхивая с себя грязь, у них еще дрожали коленки, в голосе была хрипота, но все они – выбирались!

В этом своем мастерстве он преуспел премного. И знал про это. Но сейчас, прыгая на одиннадцатом этаже издательства, он вдруг понял: вот такого ощущения победителя он никогда не описывал. Это удивило его. Валентин считал себя знатоком человеческого естества и уже давно не подозревал в нем тайны. Он презрительно относился к современной литературе, потому что она, на его взгляд, как раз человека не знала. Она отмечала признаки… Не существо.

Но сейчас Кравчук понял, чего недодал в своих материалах. Ощущения гармонии. Победитель должен испытать гармонию от своего пребывания на

земле. «Момент сложившегося пасьянса», – подумал он и отметил: определение надо запомнить на будущее.

Если его сегодня утвердят зарубежным корреспондентом (а его, конечно, утвердят), писать ему придется на новые для него темы. Но это не страшно. Люди везде люди. И бездны всюду бездны. Просто из тех бездн он тащить никого не будет. Их дела.

«Черт возьми! – подумал Кравчук. – Жизнь прекрасна. Улюлюкнуть, что ли, с одиннадцатого этажа?» Он представил, как бы ему пришлось объясняться, где надо, если б он улюлюкнул.

«Человеку нужно давать время от времени крикнуть, распустить постромки… Я крикнул от ощущения гармонии и радости», – сказал бы он им.

Его поняли бы. Людям надо говорить максимальную правду. И не надо бояться, что не поймут, осудят. И поймут, и не осудят. Правда – это чисто и конструктивно. Ложь – это всегда грязь и разрушение. («Красиво, красиво! – пожурил он себя. – Распелся!») Но хотелось про это думать. Про правду… Разве это не правда, что он, пацан из Богом забытого хутора, стоит тут, и ему хорошо, и завтра будет так же, потому что он взял свою высоту – выше ему не надо, но и ниже тоже – и его с этой высоты уже не сбить. («Тьфу! Тьфу! Тьфу!») И тьфукать нечего, это какая-то просто зараза – суеверие. У всех талисманы, у всех счастливые и несчастливые числа, идиотская манера помечать каждый год зверем… Слабые люди, слабые… Себе такого не позволял. Все это, считал, игры неудачников, а еще так называемых аристократов крови, обивающих редакционные пороги… Двух слов на листке бумаги связать не могут! Николай Зинченко говорит о них категорически «недобитки». Это грубо. Порода, воспитание, образование – это, конечно, немало. Но это, как та земля, на которой расти бы и расти хлебу, а она вполне может остаться неродящей. Работать надо до черных ногтей! Вот правда! Когда он мотался по области и у него от голода беспрерывно урчало в животе, он не думал тогда о возможности работать в Москве. И получил ее на тарелочке с каемочкой. Когда же к нему теперь приходит человек, который в тонкостях знает, чем отличается русский ампир от ампира вообще, а метафора Пастернака от метафоры Блока, ему делается сразу скучно: это треп. Нет, он не против ни ампира, ни – не дай Бог – уважаемых поэтов. Но он знает, его хотят взять задешево. И покупают его не на свои, заработанные деньги, а на цацки культуры. Потому что про ампир и про метафору эти трепачи слыхали с колыбели, это им в ухо влетало, как музыка.

Вот они и звучат всю жизнь чужой мелодией, цена которой – грош. У него же – своя. Заработанная и выстраданная. И все своими лапками… Своими извилинами, своим серым веществом…

В эту минуту Кравчуку стало жалко всех неудачников. «Бедолаги вы, бедолаги», – подумал он о них всех сразу, скопом.

Позвонила Бэла.

«Ты еще не уехал?» – «Жду шофера». – «Ну, ни пуха…» – «К черту!»

Она подмигнула ему с портрета на столе. Креолка. Так он о ней подумал, увидев в первый раз. Она принесла статью о каком-то народном театре. Он с трудом продрался сквозь разлюли-малину о Станиславском, всестороннем развитии человека и трудностях с реквизитом для художественной самодеятельности. Хотел выкинуть все в корзину, но вспомнил автора и пригласил на беседу. Прямые блестящие волосы по спине, черные глаза в синей окантовке, большие сочные губы коричневого оттенка. Все – на грани. Еще чуть-чуть – и просто ретушированная кукла с претензиями, но чуть-чуть не перейдено, и получилась креолка. Иллюстрация из затрепанной книжки, кажется, Луи Буссенара, которая каким-то чудом попалась в детстве. Волосы Бэлы были как-то особенно вымыты, он откровенно пялился на них, потому что уже давно пялился на женские волосы, свободные, длинные, распущенные. Его волновала эта мода. Ему нравились все женщины, которые могли так их носить. Выросла новая, послевоенная порода, и он завидовал тем мужчинам, у которых было право трогать руками, спутывать и распрямлять эту душистую волну. За собой такого права он не чувствовал. У него еще была Наталья. Вшивая Наталья.

«Сейчас начнутся, – подумал он, – фантомные боли». Когда-то, найдя определение, он решил, что объяснением избавится от настигающего в одночасье укола ли, удара ли… Неожиданного, болючего, одномоментного… Наталья – и сразу пытка. Стал уговаривать себя – фантомные ощущения. Не надо их бояться.

Вот сейчас кольнуло так, будто тончайшей иглой нашли в нем центр боли и всандалили в него изо всей силы… Проклятие, подумал. Проклятие… Скорей бы уехать, скорей бы подальше… – «Вшивая. Началось это в сорок шестом голодном году. Мать отхлопотала ему путевку в первый открывшийся у них после войны

пионерский лагерь санаторного типа. Был он тогда слаб после войны и скарлатины, и мать решила, что в санатории его подкормят. Мать на станции видела, как сгружали для лагеря гречневую крупу. Она посадила его на тачку и повезла за семь километров. Мать везла тачку быстро, бойко, закатав выше колен старую сатиновую юбку. Было естественно – видеть мать в оглоблях. И сидеть в тачке было естественно. Они так ездили копать картошку. В поле он ехал как барин, а обратно – пешком, подталкивая тачку с мешками сзади. И других детей также возили матери в поле и обратно. Слабые они тогда были, дети войны и послевойны. „Все в синюю вену“, – говорила бабушка. Он ехал на тачке в лагерь-санаторий, чтобы поесть гречки, и пел песню „Скакал казак через до-лину…“».

Мать стучала по дорожной пыли черными репаными пятками, время от времени поправляя на голове белую хусточку. Когда показался лагерь, он попросил мать остановиться, сказал, что пойдет пешком. Мать повела тачку по дороге, а он свернул в кукурузную гущу по малой нужде. Он весело поливал во все стороны сухую огуби-ну, продолжая петь казачью песню. А когда кончил поливать и петь, увидел стоявшую на коленях девчонку. Он так растерялся, что не убежал, а замер и смотрел на нее в упор, разглядывая разложенный на земле белый платочек и зажатый в руке костяной частый гребень. Девчонка вычесывала вшей. Светлые прямые пряди волос падали на ее лицо, и она смотрела на него сквозь них со стыдом и ужасом. Потом он увидел ее в лагере, уже в тугих косичках, она бросила на него быстрый умоляющий взгляд, и он понял: она боится, что он расскажет, как он ее видел. А ведь он, дурак, боялся другого, как она его видела! Он, когда вернулся из кукурузы на дорогу, стал тянуть мать назад, домой, стал кричать и плакать, как маленький, и мать, развернувшись, дала ему как следует по заднице. Надо было увидеть испуганную девчонку, чтобы понять, что его позор не шел в сравнение с ее позором.

Он знал, как выводились в войну вши в их семье. Мать разбивала градусник и смешивала прыгающе-скользящие комочки ртути с каким-нибудь жиром. Потом этой смесью мазались волосы и покрывались платком на час. Рецепт выведения передавался из дома в дом, соседки и родственницы, повизгивая, бегали во дворе в накрученных чалмах. Ртутная мазь переходила из рук в руки, как сокровище. Он не понимал, почему эта девчонка так испугалась того, что он видел. Делов! Не понимал, но радовался, что она испугалась. Всю жизнь вшивая Наташка смотрела на него умоляюще и просяще.

Он встретил ее через много лет, вернувшись из армии, на танцах в железнодорожном клубе. Сразу обратил внимание. Изящненькая, точеная, в пышном дурацком перманенте. Пригласил танцевать и тогда узнал глаза. И почувствовал какую-то враз оробевшую спину и безвольную мягкую руку. Они сбивались, танцуя, а он перед этим видел: танцует она хорошо, ловко. Ему польстили ее робость, ее податливость в его руках. То, что их ноги заплетались, было обещающе. Он неожиданно для себя подумал: именно такая девушка годилась ему не просто для танцев. Вот такая, сдерживающая дыхание, с опущенными ресницами, покорно ждущая его решений, годилась для всей жизни. Он ее угостил в буфете лимонадом и ирисками, проводил домой. У самого крыльца сжал ее лицо ладонями и поцеловал прямо в губы раз, другой, удивляясь тому, как он решительно и по-мужски это делает, и восхищаясь ее слабостью и готовностью подчиниться ему целиком.

– Пойдешь за меня? – спросил он, как спрашивают, можно ли войти, уже переступив порог.

– М-м-м, – ответила она, как немая.

– Ну помычи, – засмеялся он. – Помычи.

Сразу после свадьбы он привез ее к себе домой. Мать, следуя обычаю, обсыпала их пшеницей. Оставшись с ним наедине, Наталья стала вытаскивать из спиралек перманента зерна, а он засмеялся и сказал:

– Вшивая ты моя! Вшивая!

Как она расплакалась! Оказывается, всю свою жизнь она стыдилась той своей детской беды. Она рассказывала, как ей ничего от вшей не помогало – ни ртуть, ни керосин, ни дуст. Как она хотела отрезать косы, а родители не давали, а она отрезала их сама, тупыми ножницами. И куда что делось! Но до сих пор, чуть зачешется, бежит к своей тетке, чтоб «поискала».

С Натальей он прожил девятнадцать лет и четыре месяца.

Нет, сейчас, в «момент гармонии», он не бросит в нее камня. Не скажет, что все было плохо. Куда денешь то счастье, когда родился Мишка? Они тогда все одинаково пахли – молоком, детской чистотой и пудрой «Красная Москва»,

которую Наталья использовала вместо талька. Он ходил, обсыпанный пудрой, и в редакции острили по этому поводу. Все знали, отчего пудра, но дразнили, придумывали ему женщину. Такая веселая была игра в то, как «Валька Кравчук от нее пришел, а Наташка, не будь дурой…». И так далее. На день его рождения поставили на эту тему целый спектакль. «Даму» играл их редакционный художник. Он обсыпался пудрой, подложил под рубашку два теннисных шарика и говорил: «Вальочек! Жизнь коротка, денег нету, а я в страсте». Наталья тоже прибежала на спектакль, смеялась до икоты, но с пудрой стала обращаться осторожно и перед его уходом на работу бежала за ним со щеткой. «Да брось», – говорил он ей. «Валечка! Чтоб не смеялись…»

Было хорошо с ней, было… Как смешно и трогательно она испугалась, когда начались перебои с хлебом.

– Ой! А у нас нет запасов! Ой! Что же будет? Сплошное «ой».

– Ты что, дура?! – кричал он на нее. – Не понимаешь, что это просто головотяпство? Не устраивай паники. Без хлеба не будем!

– Так и молока нет, – всхлипывала она.

– Да! – кричал он. – И молока! Так, моя дорогая, коров доить же некому! У твоей матери-доярки четверо вас, девок, а кто коров доит? Никто! Все в городе, все при часах и маникюре! Не будет молока!

– Так как же? – робко спрашивала Наталья. – А дети?

– Укороти претензии! Детям найдем. Сам пойду доить…

Она потом очень смешно рассказывала, как он кричал «сам пойду доить».

– В самом же деле! Мы ж все деревенские, в городе осели, так откуда ж чему браться? – разводила руками Наталья. – Все при часах.

Наталья – податливая глина. Лепи из нее, что хочешь. Он любил проверять на ней свои мысли.

– Слушай, – говорил он. – Вот завтра, положим, сказали: твое дело, хочешь – молись, хочешь – не молись. Пошла бы в церковь?

– Да ты что! – пугалась Наталья. – Я ж комсомолка! – А это не препятствие!

– А устав? Там же про религиозные предрассудки…

– Другой устав. Терпимость к любому верованию и так далее.

– Тот же самый комсомол, а устав другой? – дотошно так интересовалась.

– Да чего ты к этому прицепилась? Я тебя спрашиваю: пошла бы в церковь?

– Как же пошла, если комсомолка?..

Она смотрела на него любопытными смеющимися глазами, и он утверждался в своей мысли, что нам никак нельзя назад. Что в избранном пути надо быть последовательным и точным. Иначе будет хуже.

Позвонил шофер. Сказал, что у него забарахлило сцепление. Но ребята подправляют, скоро будет. Не горит? Кравчук посмотрел на часы. Пока не горит. Но все-таки поторопись… Мигом домчу, ответил шофер. Хороший парень. Тоже из их деревни. После армии зацепился в Подмосковье, а потом Кравчук ему помог с квартирой и пропиской.

– Вася? А кто же будет хлеб с поля возить? – спросил он его, когда тот пришел к нему в первый раз.

– А пусть идет своими ножками, – ответил Вася. – Я свое отвозил…

– Свое – это сколько? – вцепился в него Валентин Петрович. Запружинилась, забилась в руках тема.

– Сколько мне съесть, – ответил Вася. – А больше мне не надо!

– Нет, постой, постой! – засмеялся Кравчук. – Что значит тебе? А матери твоей, а супруге?

– И для них отвозил, – ответил Вася. – На своих наработал. А теперь с полным правом хочу жить как человек. С ванной и теплым сортиром.

– Минуточку! – кричал Кравчук. – Минуточку! Я даю тебе сортир в деревню…

– Где вы его возьмете? – отвечал Вася. – Это мы уже слышали. Да и не только сортир мне нужен… Не хочу я грязь месить. Я не энтузиаст.

Валентин Петрович написал тогда статью о непродуктивности расчета на энтузиазм. Его пожурили, объяснив, что еще рано принижать энтузиазм, ибо нет ему эквивалентной замены. И надо его, «пока надо», возжигать в сердцах.

– Трудно, – честно сказал Кравчук.

– Ну, ну… – ответили ему. – Ты нарисуй такого Васю в ситуации, когда он вернулся в деревню, хотя мог и не вернуться, когда он месит там грязь, но счастлив этой своей жизнью. Что, разве нет там счастливых?

– Конечно, есть… – Ну вот…

Он помог Васе тут… Он нашел счастливых там… И грязь месят, и баб любят, и детей рожают… Деньги, хрусталь, стенки, все при них… Это объективно, не для рекламы. А кое-где уже и теплые сортиры. Статья называлась: «Ответ шоферу Василию».

– А если я на ваш ответ напишу свой? Напечатаете? – спросил Вася.

– А тебе сказать нечего, – засмеялся Кравчук. – Я тебя побил по всем статьям.

– Мне не нравится, когда решают за человека, где ему жить, – ответил Вася. – У меня ж десять классов. Я могу и сам разобраться.

– А ты не думал, что ты за свои десять классов кое-кому должен?

– Кому?

– Народу, который тебя учил.

– Врете! Меня силой гнали в десятилетку. Нельзя человека силой накормить и потребовать за это оплаты.

– Ты демагог!

– Вытоже.

И оба засмеялись.

Великое это дело – землячество.

Им всегда славились евреи. Их спайка и помощь друг другу были притчей во языцех. Им это ставили, да и ставят в упрек, а что плохого, в сущности? Он лично никогда не был антисемитом. Хватало ума. И как в воду глядел. Его креолка – козырной туз жизни. Николай тогда, правда, свел желваки, но он их сводит и по менее значительным поводам. Николай – это Николай. Если придется когда-нибудь на пенсионном досуге написать что-нибудь вольное, он напишет о Николае. О том, как этот совершил переход из грязи в князи. И порушил, к чертовой матери, поговорку. Потому что смотреть на Николая на каком-нибудь приеме – одно удовольствие. Откуда что взялось… И этот же Николай, к примеру, на рыбалке. Без мата червяка не насадит, водички не попьет. Голос делается хриплый, глаза мутные, желваки дергаются, будто под током. И несет он всех их по матушке и по батюшке, а рыба к нему прет как завороженная. Он только успевает ей пасть рвать.

Кравчук посмотрел на Бэлу. Он помнит, хорошо помнит, как это выглядело, когда он предъявил ее землякам. Вся его беда с Натальей была у них на виду. Да и как это скроешь? Даже то, что у него появилась другая, когда он еще таскал Наталью по больницам, тоже знали, и понимали, и сочувствовали.

А когда он уже развелся и Бэла переехала к нему, был такой момент, когда он почувствовал: они его выталкивают. Земляки. И стало страшно. На мгновение, но стало… Будто качнуло тебя на мосточке над пропастью. А все ничего. Просто

Николай свел желваки.

Нет, землячество – это ракетная сила! И то, что он сейчас ждет, когда этот чертов Васька починит сцепление и он поедет на самое главное в жизни утверждение, так это Виктор. Их старшой. И Николай, конечно, тоже. Вот уже двадцать лет они в одной связке. Голову за такую дружбу отдать мало. Надо будет – отдаст…

Креолка ухмыльнулась ему с портрета. Лапочка ты моя! Испугалась, что я сейчас в припадке сентиментальности сниму свою голову?.. Нет необходимости, детка. Все в полном порядке. Вот видишь, звонок… Сукин сын, пролетариат наконец сделал свою работу.

Но звонил не Вася. Бесстрастный женский голос выразил удовлетворение, что Валентин Петрович на месте, и сказал, что ему не надо приезжать на утверждение. Его вопрос сегодня рассматриваться не будет.

– Почему?! – закричал он. И это было неправильно, потому что туда кричать не принято.

– Не готовы бумаги, – ответил голос. Трубка запела отбой.

Это была неправда.

Три дня тому назад он лично каждую бумажку общу-пал глазами и пальцами. Двойным, так сказать, восприятием. Все в них было точно.

– Красиво написано? – спросил потом Виктор по телефону. – То-то… Соответствуй теперь… Наташка не возникает?

– Нет, – соврал Валентин.

– Возникает, – поправил его Виктор. – Не бреши, сынок, по-мелкому. Но границу ей не перебечь, – хохотнул он и тут же посочувствовал: – Жалко бабу. С нашими русскими только так и бывает – они уж если воз везут, то мужичий, а если проваливаются, то в преисподнюю… Ну, ладно. Через три дня тебя утвердят, и собирай чемоданы…

В тот же день – три дня тому! – он счел возможным сказать обо всем своему заместителю. Тайны большой во всем, конечно, не было. Слухи давно ходили. Удивительное это явление – московские слухи! Для человека рядового, обывателя, их появление так же понятно, как циклон и антициклон. Нечто где-то возникает, нечто и двигается, и несет, и путает карты хлеборобам, и гадит транспортникам… Одним словом, непредсказуемая мать-стихия.

Вот и слухи… Тоже группируются в клубок и идут будоражить люд. Валентин уже давно знал, что нет тайны в возникновении слуха. Слух – это скрытая и важнейшая часть общественной жизни. Это тот самый клапан, через который выпускается дошедшая до взрывоопасной кондиции потребность в информации. Передал лично дальше какой-то неизвестно как пришедший к тебе слух-сплетню и будто поучаствовал в плебисците… Разрядился… Слухи создаются… Они как будто инъекционно вводятся в отупевшую, инертную человеческую массу, и остается только наблюдать, как гримасой, вскриком, пройдя через их толпу, слух создает ровно столько энергии, чтобы жизнь массы продолжалась при определенной температуре. Человеку, как животному общественному, надо мало… Передать по телефону сплетню, рассказать анекдот… Пых – и все… Заместителем у Валентина Петровича был Борис Шихман. Журнальчик их был неказистый, из полуведомственных, тщетно рвущихся в большой тираж. Писать в нем Кравчуку было все равно что сильному певцу петь в подвале клуба домоуправления. Бьется голос о стенки и к тебе же в горло возвращается спазмом. Поэтому Валентин страницы журнала своим пером трогал едва-едва, так только, для оттеночка, для блеска, а сам был желанным автором в больших газетах. Идеальное существование для журналиста – и редактор, и вольный стрелок.

Борис давно знал про страстное желание своего редактора уехать далеко-далеко… Шихмана это как раз не очень устраивало. Он сработался с Валентином, ему нравилось подолгу оставаться одному в редакции, пока тот ваял очередного героя где-нибудь на тюменских промыслах. Сам Шихман был человек не пишущий, в журналистику прибился из инженеров, но во всяком деле нужны люди разные. Шихман не писал, но хорошо все понимал, а для печати это немаловажно. Более того, понимая, мог сформулировать свое мнение, дать совет, предложить ход. Три дня тому Шихман прямо спросил – кто вместо? Валентин передернул плечами.

– Пока ты… – И добавил: – Не боись… Сволочь я заблокирую.

Они поняли друг друга.

Сейчас Валентин нервно набирал и набирал номер. Пусть ему Виктор сам объяснит то, что случилось. Но у того было занято. Это тоже было неправильно, чтобы сразу все три телефона разговаривали. Валентин почувствовал, что вспотел. Хорошо, конечно, что на нем хлопковая рубашка, не так это мучительно физически, хотя идти теперь в ней куда бы то ни было уже нельзя. Разводы под мышками, на спине… Валентин потел сильно. Инстинктивно он отвернул от себя креолку. Даже с портрета пусть она его таким не видит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/galina-scherbakova/realisty-i-zhloby

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить